

Задания для регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (2010-2011 учебный год)

Региону предоставляется выбор из двух вариантов для каждого класса.

11 класс

Вариант 1

Комплексный анализ художественного текста.

К.Д. Воробьев

Первое письмо

Прошлым летом я жил в Лосевке — дачной деревне из полутора десятков домов, притаившихся на опушке знаменитой в нашем краю пуши. Хозяин, у которого я снимал жилье, числился в какой-то артели надомным сапожником — до города было километров пять, — зачем-то притворялся хворым и душевным человеком. У него были разноцветные глаза — один голубой, а другой карий. Голубой глядел притворно-ласково, а карий злобно. Просыпался хозяин чем свет, шел в одном белье в палисадник и просовывал голову в окно моей комнаты.

— Уже маракуете? — сиповатым со сна голосом спрашивал он меня и опасно трогал клавиатуру пишущей машинки.

— Тружусь, Адам Егорович, — коротко отвечал я, но это не сообщало ему уважения к моему занятию. Он начинал тихонько смеяться и подмигивать темноватым глазом, будто намекал на что-то скверное, что я только что украдкой сделал, а он подглядел. Потом вытирал глаза, хотя оставались они сухими и хитровато-настороженными, и в десятый раз допытывался:

— И, говорите, платят за это? Уд-дивительно! На чем только городские не поддедюливают!..

Я сразу припоминал косячки на своих ботинках — Адам Егорович взял с меня за них шесть рублей вместо одного, и мне хотелось сказать ему нечто определенно-твердое, но сознание, что Адам Егорович — хозяин, удерживало меня от этого: я, как и он, начинал почему-то хихикать и подмигивать, словно соглашался с ним в оценке моего тяжелого и беспокойного труда.

Так нас заставало солнце. Хозяин уходил одеваться, но в палисадник тут же вбегал восьмилетний дачник — мой сосед. Он зарывался толстой тушкой в анютины глазки и толстым голосом вопил; «Не хочу-у». Простоволосая мамаша протягивала к нему сквозь изгородь яйцо и колоратурным сопрано моляще грозила:

— Выпей треть, говорю! Выпей и не вынимай из меня последнее сердце!

На крик являлся Адам Егорович. Он начинал подсчитывать смятые головки цветов, и мне приходилось отправляться в лес...

Верстах в четырех от Лосевки я знал одно дремучее место. Там постоянно таился сумрак и прядали одряхлевшие вороны. Между седых сосен большие пауки ткали липкие тугие сети. Длинные пегие ящерицы непуганно шныряли по земле, и временами что-то непутево ухало на дне низины, у протекавшего там ручья. Я приходил сюда с ружьем для бодрости и с корзинкой для боровиков — росли они тут сильные, коричневые, плотные. Чтобы не озираясь то и дело по сторонам и слышать хоть что-нибудь живое, приходилось петь. В памяти тогда почему-то всплывали одни боевые мелодии, вроде того, что «нас не трогай, и мы не тронем...» Но даже вдвоем с песней трудно было оставаться в этой глухомани более получаса — хотелось поскорее выйти к солнцу, к птичьим голосам, к жизни.

В этом месте у подножия исполинского дуба я нашел однажды великолепный белый гриб, а рядом с ним сухую ветку с красным лоскутком ветоши. Ни того ни другого я не коснулся и прошел мимо, но чуть поодаль обнаружил еще два гриба под такими же флажками.

Тогда мною овладело не совсем приятное чувство — я никогда никого не встречал здесь, и заметки над грибами казались странными. Словом, я не захотел взять эти грибы, потолковав сам с собой так: «Мало ли кому и для чего понадобилось примечать их тут?»

Отойдя метров тридцать от дуба, я сел под лохматую ель завтракать. В лесу стояла гнетущая тишина, пахло тленом, смолой и сыростью, и от всего этого охотно верилось в сказочную Бабу Ягу и разную иную чертовщину. Дуб и зафлаженные грибы оказались у меня за спиной, и это было почему-то неприятно. Я стал оборачиваться к ним лицом, и в это мгновение в лесу метнулся и повис высокий, почти пронзительный детский голос:

Дор-рогая подруж-женька, Дор-рогая моя подруж-жка!..

Это было так неожиданно и так тесно связалось с моим лесным настроением, что я выронил хлеб и схватил ружье. У дуба что-то мелькнуло и пропало, и на той же ноте, с той же напряженной страстностью снова прозвенел голос:

Дор-рогая подруж-жепька, Дор-рогая моя подруж-жка!

Я отставил ружье — пел обыкновенный мальчик, которого я еще не видел, но уже знал, зачем он кличет эту свою «подружку»: в голосе бился неприкрытый испуг, удивление, задор и еще что-то такое, больше похожее на крик о помощи, чем на радость.

И тут я увидел певца — коренастого мальчугана в длинном, не своем, видать, пиджаке, с большой плетеной корзинкой в левой руке и с палкой — в правой. Он быстро собрал зафлаженные грибы, сунул красные лоскутки в карман, повел бледным лицом по сторонам и снова прокричал свою песню — опять эти полкуплета, больше, наверно, не знал.

Он не замечал меня, а я хорошо видел его из своего укрытия. В песне у него участвовали только губы и голос, а глаза не моргали и стерегли пространство, и оттопыренные лопушки ушей чутко ловили малейший шорох и звук.

Я выждал, пока он отошел подальше, и под его «подружку», чтобы скрыть треск валежника и не испугать человека, отделился от дерева и негромко запел «Колыбельную» Моцарта — в песенке этой много ласковых слов и мирных созвучий.

Расчет был верный. Услыхав мой голос, юный грибник неторопливо оглянулся, спокойно подтянул штаны и как-то бочком, бочком пошел ко мне на сближение.

И вот мы идем рядом. Белая голова незнакомца достает мне до пояса. Из-под длинноватых штанин у него размеренно выныривают короткие квадратные ступни и уютно тонут во мху и в сосновых иглах. Парень явно обрадован встрече и моему ружью, но он из молчаливых, из тех, чьи мысли не разгадаешь сразу.

— Давай-ка, брат, познакомимся, — предложил я и назвал свое имя. — Наверное, тебя тоже как-нибудь зовут?

— Васильем зовут, Трофимычем, — баском сообщил спутник и тут же заметил маленький боровик, взбугривший упругой шляпкой пяточок песчаной земли у нас под ногами.

— Тебе везет, Трофимыч! — шутливо сказал я, а он длинно поглядел на меня круглыми серыми глазами, длинно и застенчиво улыбнулся чему-то и нехотя достал из кармана красный лоскутик.

— Замечу. Пускай подрастет немножко...

Я заглянул в его корзинку и не увидел там мелких грибов. Раскрывалась, пожалуй, загадка с флажками — Трофимыч был, видать, мужик хозяйственный и с мелочью возиться не хотел.

— Так это твои грибы росли вон под тем дубом?— спросил я.

— Мои, — почему-то невесело признался Трофимыч и поинтересовался: — А чего ж ты не взял их, раз нашел? Тут беляков много. Хватит и на двоих.

— Да разве, кроме нас, сюда никто не ходит? — притворился я удивленным.

— Нет, — коротко сказал Трофимыч и через несколько шагов пояснил: — Далёко очень. И буклы боятся.

— Какой буклы? — не понял я.

— Серой. Я ее видел. Мырнет головой в воду и ка-ак букнет! А сама — аж больше меня и на двух лапах... Может, стрельнем, чтоб знали?

— Кто?

— А все, — ответил Трофимыч и кивнул на низину. Я поглядел туда и понял: «попугать надо все, чего он тут боялся, — голубой сумрак, тишину, мшистые коряги, красную плесень и таинственную «буклу». Откровенно говоря, мне и самому захотелось пострадать все это, и я выстрелил сразу из обоих стволов.

Домой мы возвращались вместе — Трофимыч, оказывается, был жителем Лосевки. Глядя себе под ноги, он сообщил, что отца его прибила в позапрошлом году гроза, мать работает под городом на лесозаводе и что осенью он в первый раз пойдет в школу.

— А ты... нешто дачник? — вдруг спросил Трофимыч и поднял на меня глаза. В их ожидании скрывалась какая-то откровенно-ревнивая надежда, но я не разгадал ее и ответил утвердительно.

— А-а, — отозвался Трофимыч, и мне показалось, что он ускорил шаги.

Чем дальше уходили мы от сумрачной пади, тем отчужденней становился Трофимыч, — у него пропал ко мне всякий интерес. Я ломал голову над причиной такой резкой его перемены и с самоуверенностью взрослого решил, что дело тут в близости деревни: в лесу Трофимыч приласкался ко мне от страха. Это было немного обидно, но все же я сказал:

— А буклы ты зря боишься. Это выпь, птица такая, из породы цапель.

— Птички по-бычиному не кричат, — резонно ответил Трофимыч и свернул к лосевским огородам.

А вечером я увидел его снова. Он шел куда-то вдоль улицы, то и дело поглядывал на красный закат и что-то соображал. Над дорогой плавала розовая пыль, взбитая велосипедами дачных ребятишек; в небе копнились прожаренные за день облака, и во дворах оглушительно кричали дачные петухи, привязанные ситцевыми лентами за ноги, — откармливались.

Мой юный сосед, не желавший по утрам пить третье яйцо, вечерами катался на «Орленке», что-то пел под Утесова и никому не уступал дорогу. Не дал он ее и Трофимычу, и когда тот шагнул вправо, туда же еще издали повернул и дачник, неистово работая звонком и педалями. Трофимыч кинулся тогда влево, цепко следя за передним колесом велосипеда, — оно вместе с песней стремительно накатывалось прямо на него. Все остальное уместилось в одну секунду: Трофимыч прирос к дороге, сжался, напряжился, а когда велосипед оказался от него в двух пядях, отпрыгнул в сторону и каким-то судорожным толчком рта гневно и коротко крикнул что-то на дачника.

Дальнейшие события вылились в следующее: мой дачный сосед лежал в пыли рядом с велосипедом и не хотел вставать. Из отверстого рта его тек густой рев, а из носа — то, что в Лосевке зовут юшкой. Адам Егорович крепко держал за руку Трофимыча, хотя он не пытался бежать и только временами все поглядывал на закат, — видно, торопился куда-то. Чужая мать шелестела над ним китайским халатом, не без изящества размахивала руками и умоляла меня позвать милицию.

— Скажите, она имеется тут или нет? Он же толкнул ребенка! Слышите? Толкнул...

— Я его не толкал, — без надежды на то, что ему поверят, сказал Трофимыч. — Он сам все время задавливал меня... И нынче тоже. А я только гавкнул на него. Всего-навсего раз...

— Вы слышали? Он на него гавкнул! Как вам это нравится? Он же мог убить ребенка до смерти! Идите и позовите сельсовет, если в этой дыре нет милиции...

— Не надо сельсовета, — убежденно сказал я женщине.

— А что же, по-вашему, надо? — изумилась она.

— Выпороть. Вашего сына...

Больше мне не удалось сказать ей ни одного слова — дама в китайском халате умела говорить такое, чего не умел я. Когда она ушелестела халатом, волоча за собой упирившегося сына, я предложил Адаму Егоровичу освободить руку Трофимыча.

— А мне думается, — возразил он, — что его лучше поучить пять минут хворостиной сейчас, чем в совершеннолетию пятью годами по указу, а?

— А вы бы поучили дачника, — в тон ему предложил я, — он ведь у вас каждое утро цветы мнет.

— То дело не по мне, — каким-то скучным голосом отозвался Адам Егорович. — У него папаша на «Победе» ездит, пускай и учит...

Уходя, Трофимыч пытливо взглянул на меня и чему-то улыбнулся длинно и загадочно.

В сумерках наступавшей ночи я сидел в палисаднике и вдруг услышал на дороге чьи-то шаги и голос Трофимыча:

— ...А грибы не жарил. Масло взяло и разлилось. Да ты не горюй! Завтра ж у нас с тобой «получка»...

Я выглянул из-за плетня. Трофимыч тесно шел с маленькой худенькой женщиной и в одной руке держал ее руку, а в другой небольшую вязанку ослепительно белых в ночи щепок... После в улице долго плавал терпкий запах скипидара и еще чего-то такого чистого и свежего, чему я не знал названия...

Несколько дней после этого я не встречал Трофимыча, и вдруг однажды утром он явился ко мне сам. Остановившись у дверей, он сперва стащил с головы выдавший виды картузик, потом уже сказал:

— А я картошку окучивал. Только вчера управился... Может, ходим опять туда за беляками? Там теперь страстьросло их!..

Говорил он отдельно и четко, напирая на «р», отчего речь его приобретала какой-то особенно вдумчивый смысл.

Я заторопился в сборах, а Трофимыч осторожно присел на диван, незаметно качнулся на пружинах, незаметно изобразил на лице «ишь ты», затем стал разглядывать пишущую машинку.

У меня давно хранились охотничьи сосиски, и так подсохли, что издавали звон, когда я завертывал их в газету.

— Чтой-то? — удивился Трофимыч.

— Сосиски, — сказал я. — Вкусные. Никогда не пробовал?

— Мамка приносила раз, да только они не такие были, те мягкие, — сказал он и сглотнул. Тогда я решил сперва позавтракать, а потом уже идти, но Трофимыч отодвинулся от стола, спрятал руки между колен и заявил:

— Не буду... Это нехорошо.

— Что? — не понял я.

— Есть у чужих.

— Ну, — смешался я, — мы же с тобой не чужие. Мы ведь друзья.

— Все одно нехорошо, — стоял он на своем, а я подумал: «Ну подожди до леса. Там я с тобой слажу!»

Перед самым уходом я показал Трофимычу книжный снимок выпя. Он взглянул на картинку и сразу же признал:

— Букла! Вот же гадость, зря только пужала! Ну теперь все! Теперь там остался один что ни на есть волк. Я его тоже видал, изблизи прямо.

— Напугался небось? — равнодушно спросил я.

— А у него у самого из одного глаза слезы капали. И ключья на боках висели. Болел, должно, чем...

Грибов и в самом деле naroslo «страсть». Мы быстро наполнили ими свои корзинки, постреляли из ружья, потом сели завтракать. И тут мне впервые привелось увидеть, как можно красиво и умно есть! Неторопливо и плавно Трофимыч взял правой рукой хлеб, поднес его к глазам, бережно оглядел и бережно откусил — немного. С первого и до последнего глотка он не положил рук на колени, он держал хлеб и сосиски на весу, молчал, не спешил, не чавкал. Он ел, словно тихо беседовал с незримым и большим своим другом, к которому у него много уважения и хорошей любви.

Я сразу же подчинился его манере и тоже держал на весу хлеб и сосиски, молчал и в то же время гадал — откуда и отчего это в Трофимыче? От недостатка в доме еды? Но Трофимыч был крепкий и сильный, и на щеках у него лежали плитки здорового деревенского румянца. Не найдя причины, почему Трофимыч такой, а не этакий, я схватил его за голову и без слов прижал к себе. Он удивленно притаился, и вдруг на мои руки уронились теплые и легкие слезинки — не осилил человек внезапной чужой ласки...

С каждым днем я все больше и крепче привязывался к Трофимычу, и дело дошло до того, что без него мне не думалось, не писалось, не жилось. Он, конечно, знал об этом, но держался по-прежнему ровно, значительно и серьезно. Мне доставляло большую радость то, с каким уважительным чувством наблюдал он процесс моей работы. Он мог часами сидеть и следить за мной издали, а однажды, когда я смял и выбросил -под стол исчерканную кипу бумаг, внимательно спросил:

— Трудно?

— Трудно, Трофимыч, — благодарно признался я. Он поощрительно кивнул головой, подъехал ко мне на стуле и сказал:

— Зато знаешь чего? Зато когда пройдет трудно, то... знаешь как будет? Во как! — он развел вширь руками.— Аж смеяться не про что захочешь!.. Вот нам с мамкой бывает все трудно и трудно, а как получим получку, да как поедем в кино, и как наемся я там мороженого— аж щекотно... А потом опять трудно, а там сызнава приходит нетрудное. Так всегда и живем с нею...

Мои встречи с Трофимычем почему-то не нравились Адаму Егоровичу. Несколько дней он подозрительно поглядывал на нас через окно, потом как-то спросил меня:

— Учите, что ли, его чему?.. Вы не ахти приручайте сироту к чужому дому. А то он разнохает тут ходы-выходы, а потом...

— Что же он сделает потом? — приподнялся я со стула.

— Сворует. Колодки, например...

Совсем нечаянно и на заре отчетливо я назвал тогда Адама Егоровича не по имени-отчеству, а несколько иначе. Он прижмурил голубой глаз и вдруг прорвался площадной руганью...

...Вечером я уезжал из Лосевки. Трофимыч помогал мне грузить в машину книги, был грустен и задумчив, и я не мог объяснить ему причину своего преждевременного отъезда. Когда я, хорошо простясь с ним, сел в кабинку, он влез на подножку машины и сплюснул нос о стекло дверцы.

— Я от что придумал, — сказал он угрюмым баском, — я тебе пришлю письмо. Как только выучусь осенью в школе, так и... Ладно?

Дома я сколотил из фанеры ящик, вложил в него ученическую форму, букварь, карандаши и стиралки и дней за десять до начала учебного года отнес посылку на почту. А первого января посылка пришла назад. Я сорвал с ящика крышку и поверх ученической формы увидел косо излинованный лист из тетрадки первака.

Прямыми, широкими и ясными буквами — чувствовался его характер — Трофимыч писал:

«Посылаю сушеные грибы и мороженую рябину — целый пучок. Когда будешь есть, то выбирай рябинки, что наклеваны, они самые что ни на есть сладкие. Это их

синицы недоели в лесу. А костюма не надо, мама говорит, что вся Лосевка станет кто знает что думать об нас да об тебе, а мы не хотим. Ты лучше знаешь чего? Ты приезжай сюда опятошным летом и живи у нас за так, а мы себе загородку сделаем дома, доски уже есть. Приедешь?»

Я долго и трудно искал редкие слова, чтобы достойно ответить Трофимычу на его первое в жизни письмо.

1958

Вариант 2

Сопоставительный анализ поэтических произведений.

Сопоставьте стихотворения Н.С. Гумилева и А.А. Блока.

Н.С. Гумилев

Дон Жуан

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста.

А в старости принять завет Христа,
Потупить взор, посыпать пеплом темя
И взять на грудь спасающее бремя
Тяжелого железного креста!

И лишь когда среди оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,

Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей.
И никогда не звал мужчину братом.

1910

А.А. Блок

Шаги Командора

В.А. Зоргенфрею

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном - туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?

Холодно и пусто в пышной спальне,

Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.

Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны...

Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ - победно и влюбленно -
В снежной мгле поет рожок...

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...

Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов -
Бой часов: "Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?.."

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа - тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета - ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! - Тишина.

Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час.

Сентябрь 1910 - 16 февраля 1912